Евгений Лейзеров

Слово о НАБОКОВЕ

Цикл лекций

Евгений Лейзеров

Слово о Набокове. Цикл лекций (13 лекций о сиринском «сквозняке из прошлого»)

«Издательские решения»

Лейзеров Е.

Слово о Набокове. Цикл лекций (13 лекций о сиринском «сквозняке из прошлого») / Е. Лейзеров — «Издательские решения»,

Эта книга повествует не только о жизни и творчестве «русских годов» Владимира Набокова — 1899—1940, публикации которого выходили с 1921 года под псевдонимом «Владимир Сирин», но также содержат исследования автора в набоковедении, воспоминания о встречах с сыном писателя Дмитрием Набоковым, авторский документальный фильм «Ключи Набокова». Последний был показан в апреле 1998 года по Центральному Телевидению. https:/video.com/135776357

© Лейзеров Е.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие 6
Лекция 1. Российские годы младенчества— 1899—1903 7
Лекция 2. Годы детства в России – 1903—1910 19
Лекция 3. Годы отрочества, первая любовь – 1910—1917 31
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Слово о Набокове
Цикл лекций (13 лекций о сиринском «сквозняке из прошлого»)
Евгений Лейзеров

© Евгений Лейзеров, 2016
© Елена Герасимова, дизайн обложки, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моей жене Светлане

Набоков, Берлин, лето 1934 г.

С фотографии Владимира Набокова лета 1934 года, когда он ежедневно, с упоением трудился над романами «Дар» и «Приглашение на казнь», когда был безмерно счастлив от того, что совсем недавно – 10 мая – родился сын Дмитрий, предваряется эта книга. Автор выражает благодарность Елене Герасимовой, принявшей деятельное участие в ее создании, а также Борису Вайсбергу, Ольге и Александру Виль за фотографии и видеоматериалы о моей поездке в Монтрё 1 августа 2004 года на встречу с Дмитрием Набоковым…

Предисловие

Предлагаемая читателю книга представляет собой «набоковскую дюжину» лекций и авторские материалы по биографии и творчеству Владимира Набокова, или точнее, как он сам себя тогда именовал в публикациях, Владимира Сирина. Лекции основываются на творческом наследии писателя (поэзия, проза, мемуары), на биографии Набокова в изложении новозеландского исследователя Брайана Бойда и авторском отношении к описываемым произведениям и событиям. Материалы автора включают в себя исследования в набоковедении и воспоминания о встречах с сыном писателя Дмитрием Набоковым.

Лекции о биографии и творчестве Владимира Набокова проходили в Констанце, в старинном городе на юге Германии, в котором автор живет уже второй десяток лет. Этот город посещал и Набоков (об этом рассказано в 5-й лекции).

Стиль изложения – доверительная беседа с заинтересованными слушателями.

Автор с теплотой вспоминает интереснейшие выступления профессора Брайана Бойда в петербургском Музее Набокова и его книгу «Владимир Набоков Русские годы», без которой авторские лекции не состоялись бы.

Лекция 1. Российские годы младенчества— 1899—1903

Как подчёркивает новозеландский биограф Брайан Бойд вся жизнь, и творчество Владимира Набокова делится на два отрезка времени. Первый называется «Русские годы» и длится он с года рождения писателя в России – 1899 до года его эмиграции из Европы – 1940-й. В это время произведения писателя выходят в свет, как правило, на русском языке. Второй промежуток времени (тоже по определению Бойда) называется «Американские годы» и длится с упомянутого 1940 года, года приезда Набокова в Америку, до года смерти – 1977-го в Швейцарии. В этот период творения классика появляются, как правило, на английском языке.

«Русские годы» в свою очередь можно разделить на два временных интервала: первый – с года рождения 1899 до года вынужденной эмиграции из России – 1919, второй – время проживания в Европе с 1919 по 1940, из них 15 лет с 1922 по 1937 он живёт в Германии.

Сегодня моя лекция касается российских лет детства Набокова, т.е. тех лет, когда он жил в России, наездами бывая с родителями за границей. И здесь уместно привести одно из его лучших стихотворений, написанного в 1939 году в Париже с характерным названием «К РОССИИ».

Отвяжись – я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
всё, что есть у меня, – мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слёзы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна берёзы,
сквозь всё то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,

не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! – никто не ответит,
и душа никому не простит.

Сам Набоков писал, что это стихотворение «оказалось последним из моих многочисленных обращений к отечеству. Оно было вызвано известным пакостным пактом между двумя тоталитарными чудовищами…», т.е. пактом Молотова-Риббентропа в 1939 году. И ещё: «Личная моя трагедия… это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского языка ради второстепенного сорта английского языка…»

Вчера исполнилось 32 года со дня смерти Набокова. У меня есть стихотворение, которое так и называется «2 ИЮЛЯ 1977 ГОДА»:

А было всё, увы, не тем,
Что говорилось ли, писалось,
Он умер в продолженье тем,
Что наяву его касалось.

Он умер, растворив окно…
В горячечном, слепом волненье
Вся жизнь, как давнее кино —
Мельком,
вразбивку,
без «мгновенья»
Великой пушкинской строки,
Что так просилась к изголовью…
Набоков умер… как мелки
Детали частного злословья…
Когда в твореньях вновь, с Любовью,
Воскрес он Мастером строки!

Давайте разберем «детали частного злословья».

С началом перестройки, в незабываемые года гласности, мне впервые довелось познакомиться с творчеством Владимира Набокова. На дворе стоял год 1986-й и в журнале «Москва» был напечатан роман «Защита Лужина».

При чтении поразил, прежде всего, стиль: автор пишет так, будто читателя нет вовсе, вернее, есть – такой всезнающий, всё понимающий, всё могущий пояснить и объяснить. Он заранее знает, что автор может быть не последовательным в изложении событий, может забежать вперед и неожиданно вернуться к прерванной ситуации. Да, что к ситуации – к высказанной мысли, к пустяковому штриху, к возможной перелицовке всей композиции. От этого читателю поверхностному (коих большинство) – сразу не по себе. «Как же так?» – восклицает сей читатель – «текст должен быть абсолютно понятен каждому читающему, а тут сплошные загадки, которые ещё не всякий разгадает. И для чего это делается? Может быть, чтобы была видна недосягаемая мне планка при прочтении трудов этого автора?» И, наверно, такой читатель где-то прав, у него своя непоколебимая, железная правда.

Но с другой стороны и писатель имеет право писать так, как до него ещё не писали, создавать свою систему координат в процессе письма и, как правило, непрестанно следовать ей во всех написанных им произведениях. Что собственно Набоков и делал, непроизвольно поставив себе в начале творческого пути такую, казалось бы, неразрешимую задачу. Потом в процессе своего чтения, по мере погружения – и не единожды – в какую-либо фразу, отрывок, пассаж или целиком в роман, задаёшься естественным вопросом: а для чего собственно Набокову это было нужно? Сразу же и однозначно, без анализа сиринского[1] творчества, на этот вопрос не ответить.

Но сначала маленькое отступление. Дело в том, что в далёком 1997-м я не только был поражен стилем Набокова. Мне очень хотелось конкретным действием показать, прежде всего, его российские литературные корни так, чтобы становилось видным, что всё его творчество опирается на великую русскую литературу, а сам он – последний представитель ее Серебряного Века. Задался вопросом: почему бы не создать профессиональный документальный фильм о Набокове. Такой фильм «на одном дыхании» за несколько месяцев был снят и смонтирован, показан заинтересованной питерской аудитории, а в день рождения писателя в 1998-м году демонстрировался по Центральному Телевидению. В этом небольшом получасовом фильме, сразу же в его предисловии, был приведен замечательный вопрос писателя из «Дара»: «А когда мы вернёмся в Россию? Какой идиотской сантиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, – только человеческая, – но как им объяснить?» Вторым моментом, показанным в начале фильма, был тот факт, что родовой набоковский дом – «александровских времён усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону»[2] – почти полностью сгорел в результате страшного пожара в апреле 1995-го.[3] Два эти момента – вопрос и пожар – стали своеобразным камертоном в основании неспешно текущего видеоповествования. Забыл сказать, что задумывался первоначально триптих из трех глав, соответствующих самым сильным привязанностям Набокова: любви к своей малой родине, первой юношеской романтической любви и его безудержного, страстного литературного дара. Но, как всегда в жизни бывает, из-за нехватка средств от этих планов пришлось отказаться. В результате в свет вышел видеофильм «Дом», первая глава литературно-музыкального триптиха-эссе «Ключи Набокова», продюсером и сценаристом которого был ваш покорный слуга, а режиссером ныне покойный (Царствие Ему Небесное!) Евгений Поротов.

Основное внимание в этом фильме было уделено показу родовых мест писателя – дому на Большой Морской 47 в Санкт-Петербурге, где он родился; Рождествено и Батово, где прошли его детство и юность, где он встретил свою первую любовь… Звучащие в фильме стихи и цитаты из произведений Набокова позволяли не только взглянуть на эти места глазами автора, но и непроизвольно настраивали зрителей на сопереживание отечественной истории двадцатого века. И, конечно же, этому в немалой степени способствовали приводимые рассказы-откровения реставратора (на тот момент) усадьбы Набокова в Рождествено Александра Сёмочкина, искусствоведа Валентины Бушляевой и писателя Игоря Ефимова. Поскольку фундаментом фильма была превосходная выборка из творений писателя в исполнении профессиональных артистов, получилась добротная видео-биография Набокова, где в самом конце даётся ответ на поставленный в предисловии вопрос: «Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, – во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто,

[1] Владимир Сирин – под таким псевдонимом печатал свои произведения Владимир Набоков с 1921 по 1940 год.

[2] Владимир Набоков. Другие берега. Автобиография

[3] К настоящему времени усадьба в своем первоначальном виде полностью восстановлена.

через двести лет, – буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя».[4]

Если же возвратиться снова в 1997-й, воспользовавшись при этом одним из набоковских приёмов, – приёмом «возвращения в былое с контрабандой настоящего», можно будет найти не один славный пример разрешения каверзных вопросов. В том достославном году разговаривал я как-то раз по телефону с незнакомкой. Неожиданно разговор приобрёл литературную доминанту и моя собеседница с жаром и трепетом стала говорить о творчестве ее любимого писателя, коим оказался Набоков. «Когда я начинаю читать любое Его произведение, то первым делом отключаюсь от всех позывных внешнего мира (выключаю телефон, все аудио, видео приборы), а потом в процессе чтения, что занимает 2—3 дня, окунаюсь в Его ауру, витаю в Ней, делая невообразимые пируэты… Я наслаждаюсь своим состоянием, мне бесконечно легко и радостно, и, поверьте, совсем не хочется возвращаться к повседневным делам. Я, как будто плаваю в родной стихии Слова, и мне больше ничего не нужно – только находиться как можно дольше в этом умопомрачительном положении…»

И вот сейчас, пройдя 12-летний цикл своей жизни, когда не один десяток раз вспоминал я монолог той давней, единственный раз говорившей со мной, незнакомки, вдруг, неожиданно высветился ответ на главный набоковский вопрос.

Творчество настоящего Мастера в литературе не бесследно и вероятно Набоков не без оснований рассчитывал не только на знающего понимающего современника, но и на близко-далёкого потомка, кто по достоинству оценит его стиль, его язык, его философскую систему координат.

Подтверждением этому служат конференции по набоковедению в разных странах, на разных языках; журнал «Набоковиана», издающийся в Америке, а также многочисленные труды исследователей. Воистину вышеприведенное предсказание писателя из «Дара» сбывается не только в России, но и во всём мире. В связи с этим небезынтересно и мое эссе-исследование «Сергиевская и фурштатская диагонали набоковского Петербурга», тем более что оно частично касается и темы нашей лекции.

Вот небольшой фрагмент из этого эссе, его начало:

«И слышу я, как Пушкин вспоминает
все мелочи крылатые, оттенки
и отзвуки: «Я помню, – говорит, —
летучий снег, и Летний сад, и лепет
Олениной… Я помню, как, женатый,
я возвращался с медленных балов
в карете дребезжащей по Мильонной,
и радуги по стеклам проходили;
но, веришь ли, всего живее помню
тот легкий мост, где встретил я Данзаса
в январский день, пред самою дуэлью…»

В. Набоков «Петербург» <14 января 1923>

«В Санкт-Петербурге, в этой удивительной столице русской поэзии, есть две старейшие, рядом расположенные, параллельные улицы – Чайковского[5] и Фурштатская, напрямую

[4] Владимир Набоков. Дар. Роман

[5] Далее в тексте эта улица будет встречаться под своим старым названием Сергиевская, как она официально называлась

связанные с жизнью и творчеством писателя Владимира Набокова. Поэтому, вначале хотелось бы остановиться в центральной части Сергиевской улицы, верней, в её сердце – на пересечении с Литейным проспектом, где когда-то (вместо нынешнего 1930-х годов постройки, серого, казенного сооружения) находился знаменитый Сергиевский собор[6], в честь которого и была названа улица. Давайте, хотя бы мысленно, пройдемся по нечётной стороне этой улицы в сторону проспекта Чернышевского и отметим те дома, которые так или иначе связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина.

В первом же – в трёхэтажном доме №21/8, на углу Сергиевской улицы и Литейного проспекта, в начале 1840-х годов до 1843 года снимал квартиру близкий друг Пушкина, князь Пётр Андреевич Вяземский. А через три дома расположен дом №29, который можно назвать «фамильно-родовым гнездом» семейства Ганнибалов, ибо он (дом) был приобретен прадедом Пушкина, «арапом Петра Великого» – Абрамом Петровичем Ганнибалом в конце 1750-х годов.[7] После смерти Ганнибала в 1781-м году дом принадлежал ещё более 20 лет его сыновьям. А в следующем доме №31 в 1787-м году родился будущий писатель Николай Греч, труды которого Пушкин очень ценил.

И последним домом в нашем кратком путешествии по пушкинским местам небольшого участка Сергиевской улицы станет дом №55. Он знаменит тем, что здесь снимала квартиру в 1862-м году Екатерина Ивановна Набокова, урожденная Пущина, вдова генерал-адъютанта Ивана Александровича Набокова (1787 – 1852), (бывшего братом прадеда писателя Владимира Набокова), «…героя войн с Наполеоном, ставшего под старость комендантом Петропавловской крепости в Петербурге, где одним из его узников был (в 1849 году) писатель Достоевский, автор «Двойника» и проч., которого добрый генерал ссужал книгами. Куда интереснее, однако же, то, что он был женат на Екатерине Пущиной, сестре Ивана Пущина, однокашника и близкого друга Пушкина».[8] Следует сказать, что Пушкин «…бывал в Пскове у Набоковых, сестре своего друга он подарил список стихотворения «Мой первый друг, мой друг бесценный» с пометой «13 дек. 1826. Псков».[9]

Завершая же экскурс в прошлое Сергиевской улицы, отметим, что почти напротив дома №55, или, скорей, по диагонали, по направлению к Воскресенскому проспекту[10], на другой стороне улицы находится дом №38. Именно про этот дом и про то, что маленький Лужин проходил мимо описанных выше домов, повествует Набоков в романе «Защита Лужина»: «…В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно.

Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, несся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно

с 1762 по 1923 год.

[6] 6 Памятник архитектуры, освящен 13 мая 1731 года во имя преподобного Сергия Радонежского, с 1835 года – Собор всей гвардейской артиллерии. В 1932 г. – храм закрыт, в 1934 г. – разрушен.

[7] За несколько лет до 1762-го года, когда бывшая 2-я Артиллерийская улица стала называться Сергиевской

[8] Владимир Набоков. Память, говори Санкт-Петербург «Симпозиум» 2002

[9] Сведения по истории Сергиевской улицы взяты из книги Бройтман Л. И., Дубин А. С. Улица Чайковского. – М.: ЗАО Центрполиграф: ООО «МиМ-Дельта», 2003

[10] [10] Старое название проспекта Чернышевского

стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. <…> Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях».

Нужно отметить, что сам писатель Владимир Набоков в детстве, зимой 1906/07 года, здесь, несомненно бывал, ибо его родители снимали именно в это время квартиру в этом доме. А напротив, по диагонали через Воскресенский проспект, в доме №59/14 по Сергиевской, проживал его дядя по материнской линии Василий Иванович Рукавишников (завещавший впоследствии своему любимому племяннику Володе усадьбу в Рождествено). Так образуется – относительно Воскресенского проспекта – (как бы в ширину), сергиевская (детская) диагональ писателя».

А вот что пишет о характере писателя Брайан Бойд: «Набоков всегда был одиночкой, и любой рассказ о его жизни должен сосредоточиться на загадке его личности и на том, как она проявляется в искусстве. Три характерные особенности сразу бросаются в глаза. Во-первых, его необыкновенная самоуверенность: кто еще отважился бы начать нехудожественное произведение словами: «Я мыслю как гений»? Во-вторых, необыкновенная, почти беспощадная напряженность и концентрация его чувств к другим людям. Хотя Набоков мало кому позволял считать себя его другом, он любил отца, мать, жену с неистовой преданностью. В-третьих, его неусыпный индивидуализм. Он всегда отказывался приглаживать свои вкусы и свои критические мнения в угоду времени и ненавидел всяческие объединения, обобщения, условности – ненавидел всё, кроме индивидуального и независимого.

Его занимали извращенность, безумие, жестокость, сексуальные отклонения от нормы. Но при всей своей ярко выраженной оригинальности он сам оставался абсолютно «нормальным» человеком: у него был светлый, здравый ум, он не терпел насилия, он умел хранить верность в любви, когда закончилась его бурная юность».

Сам же Набоков пишет об этом чувстве в последней главе «Других берегов» так:

«Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной… Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования».

Напоследок в вводной части нашей лекции приведу ещё два интересных суждения Брайана Бойда. Первое: «Некоторые полагают, что раз стилистическая оригинальность Набокова так постоянно заявляет о себе, то, значит, ему нечего предложить, кроме стиля. Я же считаю более убедительным другое объяснение: набоковский стиль так заметен именно потому, что он глубоко переосмыслил писательское искусство и смог благодаря этому выразить всю оригинальность своего ума».

И второе: «Не будь революции, гибели отца, гитлеровской угрозы и позднего мирового признания, проза Набокова лишилась бы и пронзительной остроты, и блеска, и завершенности, которые отличают ее, на каком бы из трех языков, столь им любимых, мы ее ни читали».

И последнее в этом ряду суждение о творчестве писателя – Глеба Струве, критика, поэта, переводчика, историка литературы: «В основе этого поразительно блестящего, чуть что не ослепительного таланта лежит комбинация виртуозного владения словом с болезненно-острым зрительным восприятием и необыкновенно цепкой памятью, в результате чего получается какое-то таинственное, почти что жуткое слияние процесса восприятия с процессом запечатления.»

Итак, приступаем к биографии Набокова, верней, к его автобиографии, изложенной в «Других берегах». Но сначала надо дать цитату автора из его ПРЕДИСЛОВИЯ К РУС-

СКОМУ ИЗДАНИЮ: «Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет – с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель – описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство»). <…> Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишним лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня. <…> Книга «Убедительное доказательство» писалась долго (1946—1950) с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговоренный, русский, – а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. <…> Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, – сказал попутчик мой без улыбки – моя фамилья N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», – закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах…

Вот звон путеводной ноты».

А теперь обратите внимание, как начинается сама автобиография, первые три предложения: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час».

И далее через два абзаца: «В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы».

Давайте все же заглянем в набоковскую преджизненную вечность и остановимся на его дедушке и бабушке по отцу. Его дед, Дмитрий Николаевич Набоков (1826—1904), министр юстиции при Александре II и Александре III, первый государственный деятель в роду Набоковых. Как пишет биограф Брайан Бойд «министр юстиции Набоков, всегда сухой, медлительный, пресный, оставался верен идее независимого судопроизводства и упрямо противостоял попыткам коренного пересмотра реформ 1864 года и превращения правосудия в орудие из арсенала царской власти». И далее он приводит довольно интересный факт из частной жизни Дмитрия Набокова, который плохо совместим с его репутацией уравновешенного человека: «он был любовником пылкой красавицы, баронессы Нины фон Корф, жены русского генерала. Чтобы путешествовать за границей вместе с возлюбленным, баронесса решила выдать за него свою старшую дочь Марию, и, став ее женихом, Набоков смог, соблюдая приличия, сопровождать невесту, ее мать и сестер в Париж. <…> Хотя семнадцати-

летней Марии не нравилась роль компаньонки при собственной матери и любовнике, в сентябре 1859 года она обвенчалась с сухим и мрачным Дмитрием Набоковым, которому тогда было тридцать три года. После свадьбы баронесса и Набоков жили в разных городах: их любовная связь прекратилась.

Бесстрастный, прилежный Дмитрий Николаевич и его молодая жена с неизменным веером в руках так никогда и не полюбили друг друга. Марию Набокову устраивало в браке прежде всего то общественное положение, которое он ей сулил: хотя ее муж и не имел титула, он подавал большие надежды как государственный чиновник и принадлежал к семье, близкой ко двору. Она получила то, к чему стремилась: все ее дочери стали камер-фрейлинами императрицы, а сыновья – камер-юнкерами императора». Вот что пишет Набоков в «Других берегах»: «Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами». Из-за своих великосветских привычек баронесса умудрялась вводить мужа в долги даже тогда, когда он получал министерское жалованье. Когда Дмитрий Набоков уходил в отставку, Александр III предложил ему на выбор графский титул или 50000 рублей помимо щедрой пенсии. Он выбрал деньги».

Свою бабушку, баронессу, Владимир Набоков знал не только в детстве, она всегда казалась ему «стилизованной фигурой в небольшом историческом музее». «После революции Мария Набокова заявила офицеру-белогвардейцу, проводившему эвакуацию, что она не сдвинется с места без любимой кушетки. И она настояла на своем: баронесса покинула Россию в товарном вагоне вместе с армейскими офицерами и… своим драгоценным диванчиком».

Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя, шестой ребенок в их многодетной семье (9 детей). Он родился в Царском Селе в 1870 году. Домашнее образование до 13 лет он постигал с помощью французских и английских гувернанток, а затем их сменили русские и немецкие учителя. После учебы в лучшей по тем временам 3-ей петербургской гимназии, которую закончил с золотой медалью, осенью 1887 года он поступает на юридический факультет Петербургского университета. «Поскольку университеты считались рассадниками антиправительственных настроений, многочисленный институт государственных инспекторов осуществлял контроль за профессорами и следил за тем, чтобы не возрождались студенческие организации и кружки, запрещенные в 1884 году. Студенческие волнения – слабые попытки протестовать против сложившегося положения – вспыхивали ежегодно. Во время студенческой демонстрации 19 марта 1890 года вместе с другими участниками был арестован и В.Д.Набоков. Хотя студентов арестовали в час дня, разбирательство не начиналось до позднего вечера. Неожиданно прибыл генерал-губернатор Петербурга и распорядился освободить из-под стражи сына бывшего министра юстиции. Услышав, что отец ждет его к ужину, В.Д Набоков спросил, отпустят ли по домам и его товарищей. «Нет». – «В таком случае я остаюсь ужинать с моими товарищами». За полночь студентов перевели в тюрьму Кресты, а уже через четыре дня их отпустили. Один из арестованных с уверенностью утверждал, что столь быстрым освобождением они были обязаны тому, что Набоков решил остаться с ними.

Годы учебы отца Набокова в университете, (а он его окончил с отличием по кафедре уголовного права в январе 1892 года), совпали с усилением государственного антисемитизма в стране. Так, в 1889 году новый министр юстиции Н.А.Манасеин обнародовал доклад, в котором утверждал, что большинство адвокатов в стране – евреи, вытеснившие из этой профессии христиан; с ноября того же года прием в адвокатуру вошел в компетенцию самого

министра. Напротив, Дмитрий Набоков, в бытность свою министром юстиции, настойчиво и весьма успешно противодействовал антисемитским решениям, принятым в 1881 году министром внутренних дел. Эта фамильная черта проявится и у В.Д.Набокова, который станет наиболее горячим защитником прав евреев из всех русских юристов». А еще позднее его сын женится на еврейке из России, будет осуждать антисемитизм в своих произведениях и сможет бежать вместе с женой и сыном из гитлеровской Германии только благодаря евреям-эмигрантам из России, которые сохранили благодарность его отцу, кристально честному защитнику их интересов.

Надо еще отметить, что отец Набокова после окончания университета предпочел чиновной карьере академическую и уже в двадцать пять лет напечатал свою первую научную статью. Для подготовки по уголовному праву он был командирован в Германию, где вскоре получил письмо от Николая Таганцева, старейшины российских криминалистов, видевшего в Набокове своего преемника как в науке, так и на поприще преподавания, и теперь предлагавшего ему место преподавателя уголовного права в Училище правоведения. Восемь лет (1896—1904) он читал лекции по уголовному праву и уголовному процессу, но затем его преподавательская карьера в училище оборвалась: из-за своей оппозиционно-политической деятельности ему пришлось покинуть кафедру.

Даже в первой лекции, прочитанной в 1896 году, при вступлении в должность профессора Училища правоведения, Владимир Дмитриевич не делал секрета из своей приверженности к развитию того прогрессивного потенциала, что заложен в законе. Он утверждал, что права индивидуума перед законом – не абстрактная теоретическая проблема, но «плод долгой политической борьбы за гарантию политической свободы против абсолютной власти, как бы она ни называлась». Как специалист по уголовному праву, отец Набокова отвергал социологические обобщения, подчеркивая, что идея индивидуальной ответственности несет в себе свободу и противоречит вечной несправедливости массовых репрессий или «превентивного» наказания для тех, кого считают потенциально опасными или просто непохожими на остальных. Гомосексуалисты, преступники, уже понесшие наказание, бродяги, евреи, политические неблагонадежные – всех их он защищал от тирании закона.

Вынужденное знакомство писателя Владимира Набокова с большевизмом и нацизмом послужило для него еще одним доказательством того, как важна была непреклонная борьба его отца за права личности против давления государства. Как и отец, он осуждал нетерпимость и отвергал любые социологические обобщения, утверждая непредсказуемость индивидуального.

Стоп, стоп! Где наш младенец? Уж не потеряли ли мы его? Ау, Ау! Ан нет, вот он, родимый, высветился, да еще в каком ореоле: «Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, – моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в белозолотом и твердом, держащее меня за правую руку, – отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей – длинную, прямую, обсаженную дубками, – прорезавших „новую“ часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года, и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни».

Хотя отец Набокова всецело связал свою судьбу с интеллигенцией, он вовсе не отказывался от великосветского образа жизни своей семьи. Он по-прежнему жил в родительском доме на набережной Невы, посещал костюмированные балы, оперу, даже бывал при

дворе, а в 1895 году, как и его братья, получил камер-юнкерское звание. Светская жизнь продолжалась и летом в загородных усадьбах: пикники, крокет, теннисные площадки. Там-то, за городом он и познакомился с Еленой Ивановной Рукавишниковой (1876—1939), дочерью владельца двух соседних имений в трех верстах вниз по реке Оредеж. Такое же расстояние по берегу Невы разделяло их дома и в Петербурге: как будто сама судьба хотела сообщить им, что имеет на них свои виды.

Теперь пора познакомиться с набоковскими дедушкой и бабушкой по материнской линии. Его дед, Иван Васильевич Рукавишников (1841—1901), землевладелец и филантроп, ему принадлежали поместья Выра и Рождествено. Не жалея средств на благотворительность, он за несколько лет в селе Рождествено построил три школы, двухэтажную больницу на 80 коек, общедоступную библиотеку и частный театр для селян, где играли Варламов и Давыдов, знаменитые актеры того времени. Вот как его описывает Набоков в «Других берегах»: «На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни – тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба – купленная им, собственно, для старшего, рано умершего сына – была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея».

Если культурный уровень Ивана Рукавишникова и может вызывать некоторые сомнения, то жену он себе нарочито выбрал из семьи, отличавшейся самыми передовыми воззрениями и хорошо известной в научном мире. Его жена Ольга, в девичестве Козлова (1845—1901), была дочерью первого президента Российской императорской академии медицины. Писатель Набоков не раз задумывался, что такие работы его прадеда по материнской линии, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», служили «забавным прототипом» как его лепидоптерологических работ, так и целой галереи патологических типов в литературных произведенияях. Сама Ольга Николаевна Козлова серьезно интересовалась естествознанием и, уже став женой Ивана Рукавишникова, отвела одну из комнат их вырского дома под химическую лабораторию. Позднее она пригласит знаменитого университетского профессора зоологии Шимкевича давать уроки дочери Елене.

Из восьми детей Рукавишниковых шестеро умерли молодыми; в живых остались только Василий и Елена, самая младшая. Это была нежная, робкая, умная женщина; нервная и чувствительная, она казалась будущему писателю более сложной натурой, чем его всегда невозмутимый отец. Они впервые встретились на рыбалке: он – крупный, удивительно статный, твердый взгляд, усы, и она – тонкая талия, «высокий зачес пепельных волос», красивое лицо, которое казалось мечтательным, почти печальным из-за опущенных уголков рта и слегка удлиненной, подвижной верхней губы. Владимир Дмитриевич сделал предложение Елене Рукавишниковой во время велосипедной прогулки по дороге, круто поднимавшейся из Выры в деревню Грязно. На память об этом событии они позднее посадили на этом месте липу. 14 ноября 1897 года они обвенчались и поехали в свадебное путешествие во Флоренцию.

И мне приятно сообщить, что первый общественный показ фильма «Ключи Набокова», о котором я рассказывал ранее, произошел ровно через сто лет после этого венчания, в ноябре 1997 года в петербургском Доме Журналиста.

А вот что сказано о матери Набокова в «Других берегах»:

«Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило. „Вот запомни“, – говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию

заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшало мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество – и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный – тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней – липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, – подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, – где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец…»

«О, еще бы, – говаривала мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением – еще бы, это я хорошо знаю…» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного». Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе – это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего».*

И сейчас уместно привести классический пример из набоковских узоров. Он вспоминает в «Других берегах», что в начале 1904 года «в нашем петербургском особняке меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это – море в тихую – погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так, чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это – море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой – может быть, лучший – фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось всё; провалилось, как проваливались

сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904—1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста».

И в заключение я прочту стихотворение Набокова, написанное в 1930 году, посвященное непосредственно нам. Оно называется: «Будущему читателю».

Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет во вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время – раковина муз.

Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией… Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.

Лекция 2. Годы детства в России – 1903—1910

Когда мы говорим о писателе, возникает естественный вопрос: в каком возрасте он начал писать? Сам Набоков заметил как-то, что он стал писателем, когда ему было три года. А в возрасте 64 лет, в интервью французской радиостанции, он сказал так: «Я начал сочинять еще совсем ребенком: хорошо помню, что в пять лет в Петербурге… я обычно рассказывал себе, лежа в постели или во время игры, самые разные истории – чаще всего героические приключения. Вокруг меня и сквозь меня проходила череда образов». Сказались, безусловно, и литературные гены родителей, и самые ранние детские, незабываемые впечатления. Вот что пишет по этому поводу Брайан Бойд: «Его мать зачитывалась поэзией, с удовольствием декламировала и переписывала своим угловатым почерком понравившиеся ей стихи новых поэтов – так же как много лет спустя она станет снова и снова переписывать стихотворения и пьесы сына. Культурный кругозор его отца выделял его среди других членов либеральной оппозиции, которая сама по себе стояла на необычайно высоком по сравнению с западноевропейскими политиками культурном уровне; еще молодым человеком Владимир Дмитриевич вступил в Литературный фонд, а позднее стал его председателем, его библиотека, которая постоянно пополнялась последними новинками, насчитывала 10000 томов, так что его сыну было где всласть порыться в книгах; он печатал статьи о Диккенсе, Флобере, Толстом, о своих любимых русских поэтах».

А вот что можно прочесть в набоковских «Других берегах»: «Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном экспрессе, вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху – в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрю сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, – и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова…»

Почти сверхъестественная способность Набокова оживлять в памяти картины прошлого – это черта, которую он унаследовал и по материнской, и по отцовской линии, развивая ее в себе «еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было». Помимо всего прочего он обладал еще цветным слухом. Вот что об этом говорится в «Других берегах»: «цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким

именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма). Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской».

(Дамы и господа, у кого-нибудь из присутствующих есть цветной слух? Если есть, тогда попытаемся на буквах рассмотреть это довольно редкое явление.)

«Моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков – и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек – сапфирных, изумрудных, рубиновых, – глухо горели над отороченными снегом карнизами домов».

Как и его мать, Набоков довольно часто болел в детстве. Вот как он описывает в «Других берегах» случай из детских лет, произошедший с ним, так же, как и с литературным героем из его романа «Дар»: «После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический шелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерский зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился вместе с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот

сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить. Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину…»

Как вы уже понимаете, мы подходим во времени к 1-й русской революции и сейчас необходимо рассказать об отце Набокова, Владимире Дмитриевиче, который проявил себя незаурядным политическим деятелем. Еще когда был еврейский погром в Кишиневе в апреле 1903 года, в результате которого было убито 45 человек, сотни человек ранено, разрушено более тысячи домов и лавок, он откликнулся на это событие в газете «Право» статьей «Кишиневская кровавая баня». Сама газета «Право» была леволиберальной и один из ее основателей, Иосиф Гессен вспоминает, как вошел в редколлегию еще в 1898 году, до рождения своего первенца, отец Набокова. Долго не могли найти специалиста по уголовному праву. После того как две кандидатуры пришлось отклонить, решено было обратиться к В.Д.Набокову, которого в редакции «опасались как элемента чужеродного». Вот как он это описывает: «Мы все в общем были люди одного круга, одной социальной ступени. Набоков же, сын министра, камер-юнкер, женатый на миллионерше Е.И.Рукавишниковой, живший в барском особняке на Морской… рисовался нам человеком с другой планеты.» Вот этот элегантный, светски-надменный с виду человек и удивил весь редакционный комитет газеты, выразив «радушную готовность войти в состав редакции». Однако он не только не принес с собой «холодок великосветских условностей» – как того опасались сотрудники, между которыми уже успели сложиться простые, дружеские отношения – но и еще «теснее спаял их кружок», «открылся прекрасным товарищем… и необычайно добросовестным работником», готовым брать на себя самые ответственные статьи.

Именно такой статьей и была вышеуказанная «Кишиневская кровавая баня», Эта сдержанная по тону, статья взбудоражила всю столицу. В ней В. Д. Набоков не только возложил на полицию ответственность за то, что она не препятствовала погромам, дожидаясь, пока они утихнут сами собой, но также вынес обвинительный приговор интеллектуальному убожеству антисемитизма, поощряемого режимом, при котором с евреями обращались как с париями, а погромщики чувствовали себя безнаказанно. На единомышленников отца Набокова – а они ставили на карту гораздо меньше, чем он, – произвело особенно сильное впечатление то, что он, зная о последствиях публикации для его карьеры и положения в обществе, сделал этот шаг без малейших колебаний.

Необходимо сказать, что сам набоковский дом на Большой Морской стал заключительным местом проведения первого Всероссийского земского съезда в ноябре 1904 года. Дело в том, что власти разрешили проведение этого съезда в столице только в частных домах. Надежды на этот съезд – «самое важное собрание общественности за все годы существования Российской Империи» вызвали небывалый подъём революционного движения в стране. Интересная деталь: когда делегаты со всей России приезжали в Петербург на съезд, они не знали даже, в каком частном доме он будет происходить, поскольку ни объявлений, ни

оповещения в печати по распоряжению властей не было. Зато извозчики и полицейские всегда с готовностью указывали им адрес проведения съезда. Точно также как почтовые работники без промедлений знали, куда отправлять корреспонденцию, предназначенную Всероссийскому земскому съезду. Решения съезда, открыто призвавшего к принятию конституции, созыву законодательного собрания и предоставлению гражданских прав, были, по существу, революционными и «в действительности послужили началом революции 1905 года». По приглашению отца Набокова заключительные заседания съезда состоялись в его доме на Большой Морской и именно здесь были подписаны резолюции съезда. После подписания один из делегатов «воскликнул, что будущие поколения увековечат это событие мраморной мемориальной доской».

К сожалению, мы знаем, что дальше произошло – что про этот съезд благополучно забыли, что наша многострадальная история, на смех иностранцам и в угоду власть предержащим, переписывалась, переписывается и будет переписываться. В связи с этим приведу своё короткое стихотворение на эту тему:

Согласование времён:
Когда и где? как обусловлен?
Фальсификацией сражен
И ею же был восстановлен.

Что вы хотите, если миф
История всегда… и кроме,
Себя отчасти осветив,
Она отсутствует … —
в истоме
Пожарищ, войн, благих идей,
Предначертаний, вех, проектов…

Там царствует сам Берендей,
«…Там чудеса…» – программный вектор!

Деятельность В. Д. Набокова не осталась, конечно, незамеченной. Реакция не заставили себя ждать. Буквально, после этого события в течение недели он лишился места в Училище правоведения и титула придворного камергера. Отец Набокова однако не жалел, что его отлучили от такого двора и «преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира»,

И тут надо привести отрывок из «Других берегов», чтобы стало понятно, как сам писатель относился к потере в жизни материальных благ:

«В сем месте американской и великобританской версий книги, в назидание беспечному иностранцу получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моей вздыхать по северной России».

Но вернемся к отцу Набокова в годы первой русской революции. В октябре 1905 года в Москве состоялся учредительный съезд Партии конституционной демократов (КД) или – согласно официальному названию – Партии Народной Свободы. Свою основную задачу кадеты видели в предоставлении свобод личности и создании такого законодательного органа, в котором могли бы проходить дебаты меду представителями самых разных сословий. Кадеты были не буржуазной партией, но «партией профессоров» и всегда подчеркивали внеклассовую природу своей партии. Когда съезд уже закрывался, Николай II обнародовал свой манифест от 17 октября. В газете «Право» В. Д. Набоков назвал условия Манифеста неудовлетворительными и «утверждал, что коренными элементами этой реформы должны быть всеобщее избирательное право, свобода и конституция, выработанная учредительным собранием».

В марте 1906 года, когда Володе было 7 лет, в семье произошли 2 события: 18 (31) марта родилась Елена, четвертый ребенок в семье (кстати, она стала долгожительницей среди братьев и сестер, прожила 94 года) и самого отца Набокова избрали в первую Думу от партии кадетов. Лучшие дни В.Д.Набокова, как политика, были связаны с Первой Думой. Его ярко индивидуальный, выразительный русский язык, его легкая ирония в безукоризненной джентльменской оправе, его мастерство кристально ясной формулировки идей – все это сделало В.Д.Набокова одним из лучших ораторов Думы. Его сюртуки были безукоризненны, а его изысканные галстуки, которые он менял каждый день, считались одной из думских достопримечательностей.

Отец Набокова был избран докладчиком комиссии по составлению проекта ответного адреса на тронную речь Его Величества. Несмотря на широту и смелость ответного адреса на тронную речь, документ был принят Думой единогласно, чему в немалой степени способствовали такт и энергия В.Д.Набокова, когда он с трибуны парламента примирял партии, расколотые существенными разногласиями. Через некоторое время председатель Совета Министров Иван Горемыкин раздраженно объявил Думе, что правительство не принимает программы, изложенной в ответном адресе на тронную речь. Когда Горемыкин закончил свое выступление, отец Набокова сорвался с места и «с гордо поднятой головой и благородной осанкой, в изящном светло-сером сюртуке, он ровным убедительным голосом чеканил обвинительный акт против правительства. Вот фрагмент из речи, которую он произнес: «Мы не имеем и зачатков конституционного министерства, мы имеем все те же бюрократические лозунги… Господин председатель Совета министров приглашает Думу к созидательной работе, но вместе с тем… категорически отказывает в поддержке наиболее законным требованиям народа». И закончил словами, которые еще долго будут звучать в российской политике: «Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»

Речь В. Д. Набокова была встречена громом аплодисментов. Его пример воодушевил депутатов, один оратор за другим осуждал правительство все более резко. В итоге Дума вынесла вотум недоверия Совету министров. Известный русский юрист заметил даже, что задав тон всему заседанию, В.Д.Набоков «был косвенным виновником роспуска Думы» почти два месяца спустя. Елена Ивановна, следившая за заседанием, с галереи для публики, «всегда с гордостью вспоминала эту речь».

Отдавая себе отчет в том, что Дума не отступит от своих требований, т.е. от требования создать министерство, подотчетное Думе и от требования насильственного отчуждения земель (на этом настаивал Герценштейн, выступавший по аграрному вопросу от кадетской партии), правительство в июле 1906 года ее просто распустило. На следующий день делегаты кадетской партии собрались в Выборге (тогда он относился к Финляндии, а там были более либеральные порядки, нежели в столице империи) и, чувствуя острую потребность

предпринять ответные шаги, составили документ под названием «Выборгское воззвание». В нем они призывали население страны оказывать сопротивление правительству, не давая «ни копейки денег в царскую казну, ни одного солдата в армию». Это был самый революционный жест кадетов за всю историю существования их партии. Как и многие другие, Владимир Дмитриевич не одобрял текста воззвания, но когда стало известно, что полиция готова помешать их встрече, все собравшиеся подписали документ, подтвердив тем самым верность партии, – ибо нужно было обнародовать хоть какой-то отклик кадетов на роспуск Первой Думы. За это решение В.Д.Набоков и все другие кадетские депутаты Первой Думы были лишены политических прав. Вплоть до Февральской революции 1917 года отец Набокова не сможет больше активно участвовать в политической жизни страны.

После роспуска Думы, буквально через несколько недель, в конце июля 1906 года был убит теоретик кадетской партии по аграрному вопросу М.И.Герценштейн. Очень хорошо, что Набоков вместе с женой в августе того же года выехали из России в Голландию, – реакционерами-черносотенцами был разработан план ликвидации самых влиятельных лидеров левых сил и Набоков в этом плане стоял вторым в ожидании физического уничтожения.

А в том же году, когда Володе было 7 лет, он открыл для себя бабочек. В «Других берегах» писатель вспоминает, что это увлечение в некотором роде дань семейной традиции: «Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой, как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела, дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого».

А вот как Набоков описывает свою первую встречу с бабочкой: «Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона – до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Великолепное бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг – тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, – ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку…».

В нашем повествовании появилось новое лицо, некая Mademoiselle. На этой особе надо более подробно остановиться. Дело в том, что у Набокова, когда он подрос, были домашние воспитатели, как правило, из нуждающихся студентов Петербургского университета. Как сам писатель вспоминает, с 1907 года у него был длинный ряд учителей, составленный из представителей самых разных племен Российской империи: русский, еврей, украинец, латыш, поляк; большинство – из разночинцев. Но до этого и далее, при них оставаясь, была мадемуазель Миотон, ставшая главным учителем Владимира. Рассказ «Мадемуазель О» – это портрет французской гувернантки, который он написал задолго до своих автобиографий на английском и русском языках, однако целиком его, включив в них.

«Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Мадемуазель. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, – и только три, но какие! – морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми – цвета ее же стальных часиков – глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красоту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижней челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и все было ново и весело – и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы».

И обратите внимание, как своеобразно описан ее приезд:

«Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова – того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко «где» превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» – заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее, наконец, поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина», – красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Мадемуазель подалась всем корпусом назад – это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно увеличенная тень – с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, – несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называет с содроганьем «степью». Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» –

ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые описали нам полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она – легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев».

Как Вам понравилось? А что больше всего понравилось – описание Мадемуазель, или описание зимней природы, или описание Захара? Продолжим, однако, дальше.

«Декорации между тем переменились. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи – все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Мадемуазель читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Мадемуазель проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Доде, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький – но настоящий – из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.

Мое вниманье отвлекалось – и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако – и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять – и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины.

Посмотришь сквозь синий прямоугольник – и песок становится пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи.

Мадемуазель так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчащего голоса».

Рассказывая о семействе Набоковых, нельзя не упомянуть об их англицизме. Вот что сказано об этом в «Других берегах»:

«В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М.Ф.Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром – янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны – тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасеньем в моих бесчисленных европейских пансионах; грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского Магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха – да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, – брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день».

Здесь еще надо добавить, что семья Набоковых, как с отцовской, так и с материнской стороны выдвинула немало замечательных дипломатов, постоянно работавших в европейских странах. Поэтому не остановиться подробно на его дяде с материнской стороны, который впоследствии завещал ему свою усадьбу в Рождествено, мы, наверно, не имеем права. Вот что можно прочесть о нем и других родственниках в «Других берегах»:

«К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т.е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен).

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник – ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат… Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредеж, против нашей Выры. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда

отец издали звал: «Вася, Вас ждут». Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, – и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга!» В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы – это было в 1914г. – когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь – сказал он, – можешь идти, аудиенция кончена, мне больше нечего вам сказать».

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства.. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. Он писал романсы – меланхолически-журчащую музыку и французские стихи… Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы – совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, – с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой – когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, занимавших его, он искал облегчения – если я правильно понимаю эти странные вещи – в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве… Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца».

Но мы как-то оставили в стороне самого отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова. Помните, отец писателя и другие кадетские депутаты в июле 1906 года подписали Выборгское воззвание. Так вот за этот поступок все они в декабре 1907 года предстали перед царским судом. Кроме того, Владимира Дмитриевича судили как издателя партийной газеты. Его приговорили к трем месяцам одиночного заключения, которое он отбывал в только что построенной санкт-петербургской тюрьме «Кресты». Тогда, не в пример нынешним временам, бытовые условия в «Крестах» не отличались суровостью. У заключенного Набокова было свое постельное белье, ему разрешили пользоваться складной резиновой ванной, благо горячей воды было вдосталь.

Здесь, не позволяя себе тратить время попусту и следуя составленной им подробной программе, он прочел Достоевского, Ницше, Кнута Гамсуна, Анатоля Франса, Золя, Гюго, Уайльда и многих других писателей. Как узник и в то же время профессиональный криминалист, он в тюрьме написал целый ряд статей, напечатанных в газете «Право» сразу после его выхода на свободу, где говорилось о никчемности существующей в России системы наказаний.

Свидания с женой дозволялись, правда, поначалу раз в две недели. Тайные письма, которые Владимир Дмитриевич писал жене, обычно на туалетной бумаге, переносил на волю подкупленный надзиратель. Получив вместе с запиской от жены бабочку, посланную сыном, он ответил: «Скажи ему, что я видел в тюремном дворе лимонниц и капустниц».

Когда 12 августа Владимир Дмитриевич вышел из тюрьмы, Елена Ивановна встречала его в Петербурге. Вместе они доехали на поезде до Сиверской. На пути в усадьбу его торжественно приветствовали в Рождествено крестьяне трех соседних деревень – под гирляндами из сосновых веток и васильков. Среди встречавших Владимира Дмитриевича не было батовских крестьян – его мать категорически им запретила поддерживать революционную демонстрацию в честь поддержки сына. Вот как описан приезд отца в «Других берегах»: «Спустя года полтора после Выборгского Воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А.И.Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович (сельский учитель – примечание мое, Е.В.) руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени – и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу – сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей, – а дальше: поворот, спуск к реке, искрящийся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб…»

И напоследок пленительное стихотворение «Домой», написанное Набоковым в эмиграции, когда ему было 22 года.

ДОМОЙ

На мызу, милые! Ямщик
вожжою овода прогонит,
и – с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик,
и свеж, и светел мир омытый
недавним липнем: благодать,
благоуханье. Что гадать?
Всё ясно, ясно: мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый:
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки.
Скорее, милые! Рокочет

мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!

Лекция 3. Годы отрочества, первая любовь – 1910—1917

Наверно, Вас интересует вопрос, помимо домашних учителей, посещал ли Набоков гимназию, как его отец? Да, он учился, но не в гимназии, а в Тенишевском училище. Таково было решение Владимира Дмитриевича, когда он своих сыновей, Владимира и Сергея, записал в это училище. Это было в январе 1911 года, причем Володя сразу поступил в третий семестр (всего семестров было 16 и третий семестр соответствовал второму классу гимназии). Тенишевское училище представляло собой частную школу, основанную в 1900 году князем Вячеславом Тенишевым, который за первые несколько лет ее существования выделил на ее нужды более миллиона рублей. Вот что пишет об этом училище биограф Брайан Бойд: «Тенишевское училище с самого начала стало одним из лучших средних учебных заведений России того времени. Подчеркнуто либеральное, демократическое, исключавшее дискриминацию учеников по социальному положению, национальности и убеждениям, Тенишевское училище отличалось в ранние годы своего существования – годы, когда в нем учился его первый знаменитый питомец, поэт Осип Мандельштам – духом равенства, товарищества и взаимного уважения между учителями и учениками. Учителя были профессионалами, высокообразованными людьми, учеными, авторами известных монографий и учебников. Занятия в школе начинались в 9 утра и заканчивались в 3 часа дня ежедневно, кроме воскресенья; учебный год длился с середины сентября до конца мая с двухнедельным перерывом на Рождество и недельным – на Пасху».

В «Других берегах» Набоков так описывает свой подъем в учебные дни перед поездкой в училище: «Когда камердинер <…> будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к „библиотечной“, откуда доносились топот и шарканье. <…> Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток».

Какие же предметы изучали тенишевцы? В начальных классах они занимались арифметикой, естествознанием, русским, немецким, Законом Божьим, рисованием, чистописанием, лепкой, столярным делом; в следующих классах список предметов расширялся и включал в себя алгебру, геометрию, тригонометрию, русскую литературу, физику, химию и физиологию, географию, историю и историю искусств, русский, немецкий и французский; а в выпускном классе к ним добавлялись политэкономия, законоведение, бухгалтерский учет и товароведение. Как видите, программа была составлена так – таково было требование князя Тенишева, – что предпочтение отдавалось знаниям научным и практическим, оставляя в стороне греческий язык и латынь. Вот что можно прочесть в «Других берегах»: «Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере

сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад, – *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *свои*х любимых книг, – и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании „приобщиться к среде“, в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам».

Более всего преуспел в этом темпераментный Владимир Гиппиус, один из столпов училища, (тайный автор замечательных стихов), преподаватель русской литературы в двух последних классах. Как пишет Брайан Бойд: «несмотря на все разногласия, Набоков вспоминал его как самого доброго и доброжелательного из всех своих учителей, относившегося к ученикам как к взрослым, а Гиппиус, в свою очередь, разглядел оригинальность под напускным мальчишеским безразличием. Однажды он задал ученикам сочинение на тему „Лень“, Набоков сдал пустой лист – и получил хорошую отметку». Сохранилась характеристика юного Набокова, данная одним из его учителей, к сожалению, имя его, по свидетельству Бойда, неизвестно: «Ярый футболист, отличный работник, товарищ, уважаемый на обоих флангах (т.е. как со стороны отличников, так и со стороны слабо успевающих учеников – Е.Л.), всегда скромный, серьезный и выдержанный (хотя он не прочь и пошалить), Набоков своей нравственной порядочностью оставляет самое симпатичное впечатление». И, конечно же, преподаватели училища постоянно ставили ему в пример деятельность отца. Он же пишет об этом в «Других берегах» немного по-другому: «Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, – безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для „Речи“, работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать – да и подавал – тайный знак своей принадлежности к богатейшему „детскому“ миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном».

По примеру отца, который фехтовал и боксировал, Владимир начал учиться английскому и французскому боксу за несколько лет до школы, чтобы никого не бояться и при случае защитить свою честь. Эта учеба очень помогла ему в школе. Когда Григорий Попов, школьный силач, гроза всего класса, которого не раз оставляли на второй год, как-то на перемене процедил с ухмылкой: «Ну-ка, посмотрим, как ты боксируешь» и тут же нанес Владимиру удар в живот, последний не растерялся и ответил прямым левым, до крови разбив нос. И хотя Попов еще какое-то время его задирал, чувство удовлетворения осталось. Володя

даже вошел во вкус и с наслаждением дрался на кулаках с тремя главными школьными хулиганами, защищая от них более слабых товарищей.

С 1912 по 1914 год Владимиру давал уроки рисования знаменитый художник Мстислав Добужинский, и сведения об этом приведены в последнем, третьем, более уточненном, английском варианте автобиографии «Speak, Memory: an Autobiography Revisited» – «Память, говори: Возвращение к автобиографии» (1967 года издания, вышел в свет на русском в 2002-м). Там говорится: «… знаменитый Добужинский, любивший давать мне уроки на крышке рояля нашего дома, в одной из приятных гостиных первого этажа, куда он входил с особой бесшумностью, словно бы опасаясь спугнуть оцепенение, в которое я впадал, сочиняя стихи. Он заставлял меня по памяти сколь возможно подробнее изображать предметы, которые я определенно видел тысячи раз, но в которые толком не вглядывался: уличный фонарь, почтовый ящик, узор из тюльпанов на нашей парадной двери. Он учил меня находить геометрические соотношения между тонкими ветвями голого дерева на бульваре, систему взаимных визуальных уступок, требующую точности линейного воображения…» Набоков признавался, что, хотя он обладал воображением художника, ему подчас не хватало техники, чтобы нарисовать увиденное, что косвенно впоследствии в Америке подтвердил Добужинский: «вы были самым безнадежным учеником из всех, каких я когда-либо имел». Но уроки зрительной точности и композиционной гармонии, которые преподал Добужинский не прошли даром и очень пригодились Набокову, когда он начал писать прозу.

Здесь еще надо отметить, что эрудиция Владимира Дмитриевича и его любознательность служили подростку Набокову великолепным примером. Отец, прекрасно знавший русскую, английскую, французскую и немецкую литературу, научил сына с ранних лет получать неимоверный восторг от настоящей поэзии. Самыми любимыми авторами Набокова-отца были Пушкин, Шекспир и Флобер и к четырнадцати – пятнадцати годам Володя также «прочитал или перечитал всего Толстого по-русски, всего Шекспира по-английски и всего Флобера по-французски», не говоря уже о Пушкине, которого он боготворил. И это еще не всё: «В Петербурге в возрасте от десяти до пятнадцати лет я, должно быть, прочел больше прозы и поэзии – английской, русской и французской, чем за любые другие пять лет своей жизни. Особенно я любил Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока». («Другие берега»)

Набоков считал Блока великим русским поэтом. Его поэзия была гораздо более романтичной, пьянящей и изменчивой, нежели стихи всех остальных, современных ему, поэтов. А что и говорить, первые два десятилетия XX века были действительно временем взлёта поэзии. Вот как об этом периоде позднее вспоминал Набоков: «Никогда поэзия не была столь популярна, даже во времена Пушкина. Каждый уголок России кишел поэтами… Любому поэту, снявшему концертный зал, была обеспечена многочисленная аудитория. Одна поэтическая группа избрала Игоря Северянина, сладкоголосую посредственность, Королем Поэтов. Футурист Хлебников в ответ провозгласил себя Председателем Земного Шара». Владимир Дмитриевич не любил новой поэзии, и поэтому ей не нашлось места в его библиотеке, тогда как Елена Ивановна увлекалась ею не меньше сына. У Владимира была целая коллекция символистской, акмеистской и футуристской поэзии, так что к пятнадцати годам он «прочел и пропустил через себя практически всех современных поэтов» и вынес мнение, что равного Блоку, среди них нет. «Юность моего поколения, – пишет Набоков, – прошла среди его стихотворений». Блок – это «один из тех поэтов, которые проникают в вашу плоть и кровь, и все остальное кажется неблоковским и плоским. Я, как многие русские, прошел через это». Конечно же, русский слух привлекает, как и тогда, несравненная блоковская музыка, в которой мысль и звук сливаются воедино, как во сне, и, по замечанию Набокова, никто не способен был подражать этой магии, а тем более объяснить ее. Очевидно, благодаря воздействию поэзии Блока, романтизм пронизывает все ранние стихотворения Набокова.

Вы, наверно, спросите, а когда зародилось это щемящее чувство стихотворчества? Об этом Набоков рассуждает в 11-й главе «Память, говори». «Чтобы восстановить лето 1914 года, в которое мной овладело цепенящее неистовство стихосложения, мне только нужно живо вообразить некий «павильон», а вернее беседку. Долговязый пятнадцатилетний подросток, каким я был тогда, спрятался в ней от грозы, которых необычайное множество пролилось тем июлем. Беседка моя снится мне самое малое дважды в год. Появляется она, как правило, совершенно независимо от содержания сна, каковым, разумеется, может быть все что угодно… Она, так сказать, мрет где-то рядом, словно скромная подпись художника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.